

— Пропусти одного, мастерового!

Я уже спускался по лестнице.

Сзади уголовные кричали:

— Смотри, убежит, под суд угодишь.

Вдруг я почувствовал, что неправильно несу ведро: я держал его перед собой, на локте, а нужно было держать его сбоку, на опущенной руке. Эта мелочь вызвала во мне больше тревоги, чем вмешательство «шпаны», и я невольно замедлил шаги. Остановился, опустил ведро на ступеньку лестницы, повернулся к уголовным и громко выругался. Надзиратель уселся на свою табуретку и махнул рукой:

— Чего, мол, с них спрашивать?

Я взял ведро, — уже, как следует, — и продолжал спускаться.

На второй площадке надзиратель сразу пропустил меня и передал вниз привратнику:

— Пропусти одного!

Вышел во двор, подошел к творилу с известью, помещал палкой в ведре. Затем, оправив савки за пазухой, пошел на улицу.

Нужно было, как можно скорее, убраться подальше от участка. Невдалеке стояла пролетка. Подбежав к ней, я сказал вознице:

— Живо, дяденька! Тут на постройке человека задавило, за доктором надо.

Но извозчик флегматично ответил:

— Куда я тебя, такое белово, повезу? Ты мне весь экипаж спортишь.

Приходилось идти пешком.

Я дошел до Невы, сел на парходник, переехал на другую сторону и прямо с парходной пристани отправился на Лошманский Рынок, где производились общественные работы безработных. Здесь я переоделся: один из товарищей отдал мне свой пиджак и ботинки. Затем, я перебрался к одному

товарищу эстонцу. Покрасил в черный цвет волосы, — и этим окончательно перешел на нелегальное положение¹⁾.

* * *

«Законспирироваться» в Петербурге в качестве нелегального мне не удалось. Меня узнавали на каждом шагу. К тому же, в газетах появилась заметка о моем побеге из Василеостровской части, — кто то из рабочих с Гагаринского Буяна, на радостях по случаю моего освобождения, побегал по редакциям и просил поместить в хронике эту новость. Я хотел, было, письмом в газеты опровергнуть это сообщение, — арестован, мол, не был и ниоткуда не бежал, — но печатать такое письмо, скрываясь от полиции и не имея легального местожительства, было затруднительно.

Пробился я в Петербурге недели две. Партийная работа в это время замирала, организация все больше разваливалась. Избирательная кампания подходила к концу, но рабочие утратили к ней всякий интерес. Кампания в защиту депутатов втородумцев развивалась туго.

В конце октября я переехал в Териоки. Здесь, в занесенных снегом дачах, жило в то время много нелегальных. Были нелегальные и в соседних селах, — в Куркале, Мустамяхках. Я встречался с Лециным, Богдановым, Михаилом Сергеевичем и др. Кроме того, часто заходили ко мне скрывавшиеся в Териоках латыши — лесные братья.

Их было пять человек, все молодые, славные. Но на всех лежала какая то печать обреченности. Всегда при оружии, напряженные, готовые дать отпор преследователям, внутренне примирившиеся с мыслью о неизбежности и близости кровавой развязки.

Со мной они говорили, чаще всего, о том, что партия не может обойтись без боевиков, что Лондонский съезд на-

¹⁾ Из товарищей, арестованных со мной 15-го октября, некоторые были вскоре освобождены, а остальные были высланы на 2 г. в Архангельскую губ.